

Дина Рубина

Дина Рубина

Русская канарейка

Желтухин



Москва
2022

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Р 82

Оформление серии *Н. Ярусовой*

Рубина, Дина.
Р 82 Русская канарейка. Желтухин / Дина Рубина. — Москва :
Эксмо, 2022. — 480 с.

ISBN 978-5-699-71725-5

Кипучее, неизбежно музыкальное одесское семейство и — алма-атинская семья скрытных, молчаливых странников... На протяжении столетия их связывает только тоненькая ниточка птичьего рода — блистательный маэстро кенарь Желтухин и его потомки.

На исходе XX века сумбурная история оседает горькими и сладкими воспоминаниями, а на свет рождаются новые люди, в том числе «последний по времени Этингер», которому уготована паразитная, а временами и подозрительная судьба.

«Желтухин» — первая книга трилогии Дины Рубиной «Русская канарейка», красочной, бурной и многоликой семейной саги...

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-71725-5

© Д. Рубина, 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Посвящается Боре

Пролог

«...Нет, знаете, я не сразу понял, что она не в себе. Такая приятная старая дама... Вернее, не старая, что это я! Годы, конечно, были видны: лицо в морщинах и все такое. Но фигурка ее в светлом плаще, помолодому так перетянута в талии, и этот седой ежик на затылке мальчика-подростка... И глаза: у стариков таких глаз не бывает. В глазах стариков есть что-то черепашье: медленное смаргивание, тусклая роговица. А у нее были острые черные глаза, и они так требовательно и насмешливо держали тебя под прицелом... Я в детстве такой представлял себе мисс Марпл.

Короче, она вошла, поздоровалась...

И поздоровалась, знаете, так, что видно было: вошла не просто поглазеть и слов на ветер не бросает. Ну, мы с Геной, как обычно, — можем ли чем-то помочь, мадам?

А она нам вдруг по-русски: “Очень даже можете, мальчики. Ищу, — говорит, — подарок внучке. Ей исполнилось восемнадцать, она поступила в университет, на кафедру археологии. Будет заниматься римской армией, ее боевыми колесницами. Так что я на-

8 мерена в честь этого события подарить моей Владке недорогое изящное украшение”.

Да, я точно помню: она сказала “Владке”. Понимаете, пока мы вместе выбирали-перебирали кулоны, серьги и браслеты — а старая дама так нам понравилась, хотелось, чтоб она осталась довольна, — мы успели вдоволь поболтать. Вернее, разговор так вертелся, что это мы с Геной рассказывали ей, как решились открыть бизнес в Праге и про все трудности и заморочки с местными законами.

Да, вот странно: сейчас понимаю, как ловко она разговор вела; мы с Геной прямо соловьями разливались (очень, очень сердечная дама), а о ней, кроме этой внучки на римской колеснице... нет, ничего больше не припоминаю.

Ну, в конце концов выбрала браслет — красивый дизайн, необычный: гранаты небольшие, но прелестной формы, изогнутые капли сплетаются в двойную прихотливую цепочку. Особенный, трогательный браслетик для тонкого девичьего запястья. Я посоветовал! И уж мы постарались упаковать его стильно. Есть у нас VIP-мешочки: вишневый бархат с золотым тиснением на горловине, розовый такой веночек, шнурки тоже золоченые. Мы их держим для особо дорогих покупок. Эта была не самой дорогой, но Гена подмигнул мне — сделай...

Да, заплатила наличными. Это тоже удивило: обычно у таких изысканных пожилых дам имеются изысканные золотые карточки. Но нам-то, в сущности, все равно, как клиент платит. Мы ведь тоже не первый год в бизнесе, в людях кое-что понимаем. Вырабатывается нюх — что стоит, а чего не стоит у человека спрашивать.

Короче, она попрощалась, а у нас осталось чувство приятной встречи и удачно начатого дня. Есть такие люди, с легкой рукой: зайдут, купят за пятьдесят евро

плевые сережки, а после них ка-ак повалят толстосумы! Так и тут: прошло часа полтора, а мы успели продать пожилой японской паре товару на три штуки евриков, а за ними три молодые немочки купили по кольцу — по одинаковому, вы такое можете себе представить?

Только немочки вышли, открывается дверь, и...

Нет, сначала ее серебристый ежик проплыл за витриной.

У нас окно, оно же витрина — полдела удачи. Мы из-за него это помещение сняли. Недешевое помещение, могли вполонину сэкономить, но из-за окна — я как увидел, говорю: Гена, вот тут мы начинаем. Сами видите: огромное окно в стиле модерн, арка, витражи в частых переплетах... Обратите внимание: основной цвет — алый, пунцовый, а у нас какой товар? У нас ведь гранат, камень благородный, теплый, отзывчивый на свет. И я, как увидел этот витраж да представил полки под ним — как наши гранаты засверкают ему в рифму, озаренные лампочками... В ювелирном деле главное что? Праздник для глаз. И прав оказался: перед нашей витриной люди обязательно останавливаются! А не останоятся, так притормозят — мол, надо бы зайти. И часто заходят на обратном пути. А если уж человек зашел, да если этот человек — женщина...

Так я о чем: у нас прилавок с кассой, видите, так развернут, чтобы витрина в окне и те, кто за окном проходит, как на сцене были видны. Ну и вот: проплыл, значит, ее серебристый ежик, и не успел я подумать, что старая дама возвращается к себе в отель, как открылась дверь, и она вошла. Нет, спутать я никак не мог, вы что — разве такое спутаешь? Это было наваждение повторяющегося сна.

Она поздоровалась, как будто видит нас впервые, и с порога: “Моей внучке исполнилось восемнадцать лет, да еще она в университет поступила...” — короче,

10 всю эту байду с археологией, римской армией и римской колесницей... выдает как ни в чем не бывало.

Мы онемели, честно говоря. Если б хоть намек на безумие в ней проглядывал, так ведь нет: черные глаза глядят приветливо, губы в полуулыбке... Абсолютно нормальное спокойное лицо. Ну, первым Гена очнулся, надо отдать ему должное. У Гены мамаша — психиатр с огромным стажем.

“Мадам, — говорит Гена, — мне кажется, вы должны заглянуть в свою сумочку, и вам многое станет ясно. Сдается мне, что подарок внучке вы уже купили и он лежит в таком нарядном вишневом мешочке”.

“Вот как? — удивленно отвечает она. — А вы, молодой человек, — иллюзионист?”

И выкладывает на витрину сумочку... черт, вот у меня перед глазами эта *винтажная* сумочка: черная, шелковая, с застежкой в виде львиной морды. И никакого мешочка в ней нет, хоть ты тресни!

Ну, какие мысли у нас могли возникнуть? Да никаких. У нас вообще крыши поехали. А буквально через секунду гроыхнуло и запылало!

...Простите? Нет, потом такое началось — и на улице, и вокруг... И к отелю — там ведь и взорвалась машина с этим иранским туристом, а? — понаехало до черта полиции и “Скорой помощи”. Нет, мы даже и не заметили, куда девалась наша клиентка. Вероятно, испугалась и убежала... Что? Ах да! Вот Гена подсказывает, и спасибо ему, я ведь совсем забыл, а вам вдруг пригодится. В самом начале знакомства старая дама нам посоветовала канарейку завести, для оживления бизнеса. Как вы сказали? Да я и сам удивился: при чем тут канарейка в ювелирном магазине? Это ведь не караван-сарай какой-нибудь. А она говорит: “На Востоке во многих лавках вешают клетку с канарейкой. И чтоб веселей пела, удаляют ей глаза острием раскаленной проволоки”.

Ничего себе — замечание утонченной дамы? Я даже зажмурился: представил страдания бедной птички! А наша “мисс Марпл” при этом так легко рассмеялась...»

Молодой человек, излагавший эту странную историю пожилому господину, что вошел в их магазин минут десять назад, потолокся у витрин и вдруг развернул серьезнейшее служебное удостоверение, игнорировать которое было невозможно, на минуту умолк, пожал плечами и взглянул в окно. Там карминным каскадом блестели под дождем воланы черепичных юбок на пражских крышах, двумя голубыми оконцами мансарды тарасился на улицу бокастый приземистый домик, а над ним раскинул мощную крону старый каштан, цветущий множеством сливочных пирамидок, так что казалось — все дерево усеяно мороженым из ближайшей тележки.

Дальше тянулся парк на Кампе — и близость реки, гудки пароходов, запах травы, проросшей меж камнями брусчатки, а также разнокалиберные дружелюбные собаки, спущенные хозяевами с поводков, сообщали всей округе то ленивое, истинно пражское очарование...

...которое так ценила старая дама: и это отрешенное спокойствие, и весенний дождь, и цветущие каштаны на Влтаве.

Испуг не входил в палитру ее душевных переживаний.

Когда у дверей отеля (за которым последние десять минут она наблюдала из окна столь удобно расположенной ювелирной лавки) рванул и пыхнул огнем не приметный «Рено», старая дама просто выскользнула

12 наружу, свернула в ближайший переулок, оставив за собой оцепеневшую площадь, и прогулочным шагом, мимо машин полиции и «Скорой помощи», что, вопя, протирались к отелю сквозь плотную пробку на дороге, миновала пять кварталов и вошла в вестибюль более чем скромной трехзвездочной гостиницы, где уже был заказан номер на имя Ариадны Арнольдовны фон (!) Шнеллер.

В затрапезном вестибюле этого скорее пансиона, нежели гостиницы постояльцев тем не менее старались знакомить с культурной жизнью Праги: на стене у лифта висела глянцевая афиша концерта: некий *Leon Etinger, kontratenor* (белозубая улыбка, вишневая бабочка), исполнял сегодня с филармоническим оркестром несколько номеров из оперы «Милосердие Сципиона» («*La clemenza di Scipione*») Иоганна Христиана Баха (1735–1782). Место: собор Святого Микулаша на Мала-Стране. Начало концерта в 20.00.

Подробно заполнив карточку, с особенным тщанием выписав никому здесь не нужное отчество, старая дама получила у портъе добротный ключ с медным брелком на цепочке и поднялась на третий этаж.

Ее комната под номером 312 помещалась очень удобно — как раз против лифта. Но, оказавшись перед дверью в свой номер, Ариадна Арнольдовна почему-то не стала ее отпирать, а, свернув влево и дойдя до номера 303 (где уже два дня обитал некий Деметрос Папаконстантину, улыбчивый бизнесмен с Кипра), достала совсем другой ключ и, легко провернув его в замке, вошла и закрыла дверь на цепочку. Сбросив плащ, она уединилась в ванной, где каждый предмет был ей, похоже, отлично знаком, и, первым делом намочив махровое полотенце горячей водой, с силой провела им по правой стороне лица, стащив дряблый мешок под глазом и целую россыпь мелких и крупных

морщин. Большое овальное зеркало над умывальником явило безумного арлекина со скорбной половиной старушечьей маски.

Затем, поддев ногтем прозрачную клейкую полоску надо лбом, старая дама совлекла седой скальп с абсолютно голого черепа — замечательной, кстати сказать, формы, — разом преобразившись в египетского жреца из любительской постановки учеников одесской гимназии.

Левая сторона морщинистой личины оползла, как и правая, под напором горячей воды, вследствие чего обнаружилось, что Ариадне Арнольдовне фон (!) Шнеллер неплохо бы побриться.

«А недурно... ежик этот, и старуха чокнутая. Удачная хохма, Барышне понравилось бы. И педики смешные. До восьми еще куча времени, но — распеться...» — подумала...

...подумал, изучая себя в зеркале, молодой человек самого неопределенного — из-за субтильного сложения — возраста: девятнадцать? двадцать семь? тридцать пять? Такие гибкие, как угорь, юноши обычно исполняли женские роли в средневековых бродячих труппах. Возможно, поэтому его часто приглашали петь женские партии в оперных постановках, он бывал в них чрезвычайно органичен. Вообще, музыкальные критики непременно отмечали в рецензиях его пластичность и артистизм — довольно редкие качества у оперных певцов.

И думал он на невообразимой смеси языков, но слова «хохма», «ежик» и «Барышня» мысленно произнес по-русски.

На этом языке он разговаривал со своей взбалмошной, безмозглой и очень любимой матерью. Вот ее-то как раз и звали Владкой.

Впрочем, это целая история...

Зверолов

1

...А по-другому его в семье и не называли. И потому, что многие годы он поставлял животных ташкентскому и алма-атинскому зоопаркам, и потому, что это прозвище так шло всему его жилисто-ловчему облику.

На груди у него спекшимся пряником был оттиснут след верблюжьего копыта, вся спина исполосована когтями снежного барса, а уж сколько раз его змеи кусали — так то и вовсе без счету... Но он оставался могучим и здоровым человеком даже и в семьдесят, когда неожиданно для родных вдруг положил себе умереть, для чего ушел из дому так, как звери уходят умирать, — в одиночестве.

Восьмилетний Илюша эту сцену запомнил, и впоследствии она, очищенная памятью от сумбура восклицаний и сумятицы жестов, обрела лаконичность стремительно завершенной картины: Зверолов просто сменил тапочки на туфли и пошел к дверям. Бабушка кинулась за ним, привалилась спиной к двери и крикнула: «Через мой труп!» Он отодвинул ее и молча вышел.

И еще: когда он умер (заморил себя голодом), бабушка всем рассказывала, какая легкая у него была

после смерти голова, добавляя: «Это потому, что он сам умереть захотел — и умер, и не страдал». 15

Илюша боялся этой детали всю свою жизнь.

* * *

Вообще-то звали его Николай Константинович Каблуков, и родился он в 1896 году в Харькове. Бабушкины братья и сестры (человек чуть ли не десять, и Николай был старшим, а она, Зинаида, — младшей, так что разделяли их лет девятнадцать, но душевно и по судьбе он всю жизнь оставался к ней *ближайшим*) — все родились в разных городах. Трудно понять, а сейчас уже никого и не спросишь, каким ненасытным ветром гнало их папашу по Российской империи? А ведь гнало, и в хвост и в гриву. И если уж мы о хвосте и о гриве: лишь после распада Советской державы бабушка посмела оголеть кусочек «страшной» семейной тайны: у прадеда, оказывается, был свой конный завод, и именно что в Харькове. «Как к нему лошади шли! — говорила она. — Просто поднимали головы и шли».

На этих словах она каждый раз поднимала голову и — высокая, статная даже в старости, делала широкий шаг, плавно поводя рукой; в этом ее движении чудилась толика лошадиной грации.

— Теперь понятно, откуда у Зверолова страсть к ипподромам! — однажды воскликнул на это Илья. Но бабушка глянула своим знаменитым «иваногрозным» взглядом, и он заткнулся, дабы старуху не огорчить: вот уж была — хранительница семейной чести.

Вполне возможно, что разгулянная прадедова повозка тряслась по городам и весям вперегонки с неумолимым бегом бродяжьей крови: самым дальним известным его предком был цыган с тройной фамили-

16 ей Прохоров-Марьин-Серегин — видать, двойной ему казалось мало. А Каблуков... да бог знает, откуда она взялась, немудреная эта фамилия (еще и тем осканда-ленная, что одна из двух алма-атинских психушек, та, что на одноименной улице, одарила эту фамилию нарицательным смешком: «Ты что, с Каблукова?»).

Возможно, тот же предок отkabлучивал и выкаблучивал под гитару так, что летели набойки от каблуков?

В семье, во всяком случае, бытовали ошметки никому не известных, да и просто малопристойных песенок, и все их мурлыкали, от мала до стара, с характерным надрывом, не слишком вдаваясь в смысл:

Цыган цыганке говорит:
«У меня давно стоит...
Эх, ды — на столе бутылочка!
Давай выпьем, милочка!»

Было кое-что поприличнее, хотя и на ту же застольную тему:

Ста-а-кан-чи-ки гра-ане-ны-ия
Упа-а-али со-о стола...

Эту Зверолов и сам любил напевать под нос, когда канареечные клетки чистил:

Упа-али и раз-би-ли-ся —
Разби-илась жизнь моя...

Канарейки были его страстью.

По четырем углам столовой от пола до потолка громоздились клетки.

Приятель у него в зоопарке работал, мастер изумительный. Каждая клетка — маленький ажурный дом, и каждая — наособицу: одна — как резная шкатулка,

другая — точь-в-точь китайская пагода, третья — собор с витыми башенками. А внутри вся обстановочка, заботливое кропотливое хозяйство для певчих жильцов: «купалка» — воротца, наподобие футбольных, с дном из оргстекла, и поилка — сложно устроенная штука, куда вода поступала из резервуара; менять ее надо было каждое утро.

Но главное — кормушка: деревянный ящичек, куда засыпали пшено с просом. Хранился корм в ситцевом мешочке, перетянута на горловине серебряной тесьмой от новогоднего подарка из раннего Илюшиного детства. Мешочек зеленый, с оранжевыми цветами, и совок к нему привязан, тоже — младенческий лепет...

...бред, почему это помнится?

И ясно, очень ясно помнится бровастое носатое лицо Зверолова, заштрихованное тонкими прутьями птичьей клетки. Глубоко посаженные черные глаза с выражением требовательного любования и в каждом — по желтому огоньку скачущей канарейки.

И тибетейка! Он всю жизнь их носил: четырехгранные чувские «дуппи» — твердые коробочки, с простеганными белой ниткой перцами-каламбир, самаркандские «пилтадузи», бухарские золотошвейные... Самые разные тибетейки, любовно вышитые женской рукой. Вокруг него всегда вилолось множество женщин.

Он бегло говорил по-узбекски и по-казахски; если брался готовить плов, от чада нечем было дышать, и морковка прилипала к потолку, но получалось вкусно. Чай пил только из самовара и не меньше семи эмалированных кружек за вечер — чашек не признавал. Если бывал в хорошем настроении, много шутил, смеялся громоподобно и заливисто, со смешными всхлипами и канареечной фистулой на высоких нотах; вечно сыпал какими-то никому не известными прибаутками: «Деревня Юшта! Вот глушь-то!» — и при каждом

18 удобном случае, будто фокусник, извлекал из памяти подходящий отрывок стихотворения, изобретательно меняя по ходу рифму, если вдруг слово забудется или по смыслу не личит.

Илюша лазал по Зверолову, как по дереву.

Гораздо позже, узнав о нем кое-что еще, Илья припоминал отдельные жесты, взгляды и слова, запоздало наделяя его личность не затоптанными, тлеющими и в поздние годы страстями.

Вообще, было время, когда он много думал о Зверолове, раскапывая какие-то замороженные простодушной детской памятью воспоминания. Например, как из шашлычных палочек тот плел корзинки для канареечных гнезд.

Палочки они вместе собирали в траве у соседней шашлычной, потом долго мыли их под колонкой во дворе, соскабливая затверделый воск давнего жира. После чего великанские пальцы Зверолова пускались в замысловатый танец, выплетая глубокие корзинки.

— Разве гнезда такие — как короб? — спрашивал Илюша, внимательно следя за ловким большим пальцем, что без усилия сгибал алюминиевое копьё и легко продевал его под уже сплетенный каркас.

— Иначе яички выпадут, — серьезно пояснял Зверолов; всегда подробно растолковывал — что, как и зачем делает.

На готовый каркас накручивались кусочки верблюжьей шерсти («чтоб малыцы не замерзли») — а если шерсти не было, выковыривался из старого, еще военных лет ватника желтый комковатый ватин. Ну, а поверх всего вязались полоски цветной материи — тут уже бабушка доставала щедрой рукой лоскуты из своего заветного портновского тючка. И гнезда выходили

праздничные — ситцевые, сатиновые, шелковые, — очень цветные. А дальше, говорил Зверолов, птичья забота. И птицы «наводили уют»: устилали гнезда перышками, кусочками бумаги, выискивали клубки бабушкиных «цыганских» волос, вычесанных поутру и случайно закатившихся под стул...

— Поэзия семейной жизни... — умиленно вздыхал Зверолов.

Яички получались очень милые, голубовато-рябенькие; их можно было рассматривать, только если самка выбиралась из гнезда, но трогать запрещалось. А вот птенцы выклевывались страшные, похожие на Кашея Бессмертного: синеватые, лысые, с огромными клювами и водянистыми выпуклыми глазами. Скоро они покрывались пухом, но страшными оставались еще долго: новорожденные драконы. Иногда выпадали из гнезд: «Эта самочка неопытная, вишь, сама их роняет», — а бывало, какой-нибудь помирал, и Илюша, заметив окоченевший трупик на полу клетки, отворачивался и зажмуривался, чтобы не видеть белесой пленки на закатившихся глазах.

Зато подросших птенцов ему разрешалось кормить. Зверолов разминал яичный желток, смешивал с каплей воды, поддевал кашицу спичкой и точным движением вдвигал ее птенцу прямо в разинутый клюв. Все птенцы почему-то норовили купаться в поилках, и Зверолов объяснял Илюше, как их надо учить, откуда пить, а где купаться. Любил качать в ладонях; показывал — как брать, чтоб, не дай бог, не причинить птахе боли.

Но все эти ясельные заботы меркли перед волшебным утренним мигом, когда Зверолов — уже проснувшийся, бодрый, ранне-трубный (он сморкался в большой клетчатый платок так, что бабушка затыкала уши и

20 восклицала всегда одно и то же: «Труба иерихонская!» — за что немедленно получала в ответ: «Ослица Валаамова!») — выпускал всех канареек из клеток полетать. И воздух становился *джунглевым*: плотным, переливчатым, желто-зеленым, веерным... и немного опасным; а Зверолов стоял посреди комнаты — высоченный, прямо Колосс Родосский (это опять бабушка) — и нежным воркотливым басом с внезапным фистульным писком вел с птицами беседы: шелкал языком, цокал, губами вытворял такое, что Илюша хохотал, как безумный.

И еще утренний номер был: Зверолов смешно поил птиц изо рта: набирал в рот воды, принимался «гулить и горлить», чтоб их привлечь. И они слетались к его губам и пили, младенчески закидывая голову. Так весной птицы слетаются к могучему дереву с высоко прибитым скворечником. Да и сам он, с закинутой головой, становился похож на гигантского птенца какого-нибудь птеродактиля.

Бабушке это не нравилось, она сердилась и повторяла, что птицы — переносчики опасных заболеваний. А он лишь смеялся.

Все птицы пели.

Илюша различал их по голосам, любил смотреть, как дрожит у канарейки горлышко на особо громких трелях. Иногда Зверолов разрешал положить палец на поющее горло — пальцем слушать пульсирующую россыпь. А петь учил их сам. Было у него два способа: собственное громкое пение русских романсов (птицы подхватывали мелодию и подпевали) — и пластинки с голосами птиц. Пластинок было четыре: аспидно-черные, с бегущим по кругу кинжальным просверком, с розовыми и желтыми сердцевинами, где мелкими буквами указывалось, какие птицы поют: синицы, славки, дрозды.